ДЖОВАННИ БОККАЧЧО

ДЕКАМЕРОН

ИЗБРАННЫЕ НОВЕЛЛЫ

Джованни Боккаччо

Декамерон. Избранные новеллы

Джованни Боккаччо — итальянский писатель и поэт, представитель литературы эпохи Раннего Возрождения, который наряду со своими кумирами — Данте и Петраркой — оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры.

Автор поэм на сюжеты античной мифологии, психологической повести «Фьямметта», новелл, пасторалей, сонетов.

Главное произведение Бокаччо «Декамерон» — книга новелл, проникнутых гуманистическими идеями, духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, жизнерадостным юмором, многоцветная панорама нравов итальянского общества.

Кончился третий день ДЕКАМЕРОНА, начинается четвертый

В день правления Филострато предлагаются вниманию рассказы о несчастной любви

Милейшие дамы! На основании того, что я слышал от людей рассудительных, а равно и на основании того, чему сам был свидетелем и о чем мне приходилось читать, я пришел к заключению, что буйный, сокрушительный вихрь зависти повергает наземь лишь высокие башни и верхушки дерев, однако ж в конце концов я убедился в ошибочности моего представления. В самом деле, я избегал и всегда неуклонно стремился избегать бурных порывов яростного этого дуновения и потому бесшумно, крадучись, шел полями, а то и глубокими лощинами. В этом легко удостоверится всякий, кто прочтет эти мои повести без заглавия, написанные в прозе, народным флорентийским языком, слогом, по возможности, простым и незатейливым. Со всем тем вихрь тот трепал меня немилосердно, едва не вырвал с корнем, зависть всего меня искусала, так что теперь мне стало вполне понятно изречение мудрецов: в подлунном мире не завидуют только ничтожеству.

Ведь нашлись же, о благоразумные мои дамы, такие читатели, которые утверждали, будто я уж чересчур вами пленен и что, мол, негоже мне стараться забавлять и занимать вас, а другие еще хуже обо мне отзывались за то, что я воздаю вам хвалу. Кое-кто, выражаясь осторожнее, заметил, что в мои лета неприлично увлекаться таким предметом, а именно — рассуждать о женщинах и стараться угодить им. Многие же, радея, видите ли, о моей славе, твердят, что я поступил бы благоразумнее, если б оставался с Музами на Парнасе, а не забивал вам голову своими побасенками. Находятся и такие, которые, выказывая не столько здравомыслие, сколько высокомерие, утверждают, что лучше бы я позаботился о хлебе

насущном, нежели, мороча себе голову всякой чепухой, питался воздухом. Есть, наконец, и такие, которые с целью опорочить мой труд силятся доказать, что все на самом деле обстояло не так, как я о том повествую.

Вот какие бушуют надо мною бури, вот какие кровожадные, острые зубы впиваются в меня и причиняют мне боль за то, что я вам служу, достойные дамы. Бог свидетель: все укоризны я выслушиваю и принимаю спокойно. Защищать меня, в сущности, надлежало бы вам, и все же я решился наконец сам себя защитить. Не почитая за нужное ответить так, как бы следовало, я ограничусь лишь краткою отповедью — только чтобы оградить мой слух, и намерен сделать это, не откладывая. Ведь если уже теперь, когда я еще и до трети моего труда не дошел, у меня оказалось так много противников и они так обнаглели, то, прежде чем я доберусь до конца, они размножатся неисчислимо и, не встречая надлежащего отпора, без труда повергнут меня во прах, а у вас при всем вашем могуществе не достанет сил оказать им сопротивление. Прежде чем, однако ж, кое-кому ответить, я замыслил рассказать в свою защиту не целую повесть, — а то как бы не подумали, будто я мешаю свои собственные повести с теми, что рассказывает у меня столь почтенное общество, которое я вам представил, — но отрывок из повести, дабы самая ее отрывочность указывала на то, что она к ним не относится. Итак, я обращаюсь к моим хулителям:

Давным-давно в нашем городе жил-был некто Филиппо Бальдуччи,[1] человек происхождения незнатного, однако ж состоятельный, благовоспитанный, искушенный в тех именно делах, какими он занимался. Была у него жена, и он ее очень любил, а она любила его, и, живя в мире и согласии, они думали только о том, как бы угодить друг дружке.

Случилось, однако ж, так, как рано или поздно случается со всеми нами: добрая женщина переселилась в мир иной, оставив Филиппо единственного сына, которому было тогда годика два. После кончины своей жены Филиппо, как всякий человек, потерявший то, что он любил, пребывал неутешен. Лишившись подруги жизни, которая была ему дороже всех сокровищ, оставшись один на всем свете, он утвердился в мысли не оставаться долее в миру, а посвятить себя богу, равно как и своего малолетнего сына. Раздав все достояние бедным, он тут же отправился на Ослиную гору,[2] поместился в одной келийке с сыном, и, живя подаянием, проводя все время в посте и в молитве, он пуще всего боялся заговорить с сыном о чем-либо суетном или же обратить его внимание на нечто такое, что могло бы отвлечь его от служения богу; он постоянно беседовал с ним о славе жизни вечной, о боге и о святых его и обучал молитвам. И такую жизнь он заставлял его вести много лет, никуда не выпуская из кельи и ни с кем не дозволяя общаться.

Время от времени этот добрый человек отправлялся во Флоренцию — там люди богобоязненные наделяли его всем необходимым, и он возвращался к себе в келью.

И вот однажды, когда юноше было уже восемнадцать лет, а Филиппо состарился, юноша спросил отца, куда это он собрался. Филиппо ему ответил. А юноша сказал: «Отец мой! Вы уже в преклонных летах, вам не под силу совершать такое путешествие. Почему бы вам когда-нибудь не взять меня с собой во Флоренцию и не познакомить с людьми, которые и бога почитают и вас? Я человек молодой, посильнее вас, и потом, когда нужно, я бы ходил по нашим делам во Флоренцию, а вы сидели бы дома».

Добрый человек, рассудив, что сын его уже взрослый и такой богомольный, что суета мирская навряд ли соблазнит его, сказал себе: «А ведь он дело говорит!» И когда ему понадобилось побывать во Флоренции, он взял его с собою.

Как же скоро юноша увидел дворцы, дома, храмы и все прочее, чем обилен город и чего он, сколько ни напрягал память, как будто бы не видел, то дался диву и стал приставать к отцу с расспросами, что это такое да как это называется. Отец отвечал, — тогда сын, удовлетворенный ответом, спрашивал его о другом. Итак, сын все еще спрашивал, а отец отвечал, как вдруг впереди показалась целая компания красивых и нарядных женщин, возвращавшихся со свадьбы, и стоило сыну остановить на них взгляд, как он тотчас же обратился к отцу с вопросом: «А это что такое?»

Отец же ему сказал: «Сын мой, опусти очи долу и не гляди, они — поганые».

«А как они называются?» — спросил сын.

Дабы не пробуждать в сыне сладострастных вожделений и не наводить его на грешные мысли, отец порешил не называть женщин их настоящим именем, а потому ответил так: «Это гусыни».

И что за диво! Сын, сроду ни одной женщины не видавший, не задержавший взора ни на дворцах, ни на быке, ни на коне, ни на осле, ни на деньгах, словом, ни на чем, что ему в тот день попалось на глаза, тут вдруг обратился к отцу с просьбой: «Отец мой! Достаньте мне, пожалуйста, одну гусыню».

«Полно, сын мой! — воскликнул отец. — Даже и не думай. Они поганые!»

Тогда юноша его спросил: «Разве поганые бывают такими?»

«Бывают», — отвечал отец.

А сын ему на это: «Никак не возьму в толк, почему вы называете их погаными. По-моему, я никогда еще не

видел ничего столь красивого и привлекательного. Они красивее нарисованных ангелов, которых вы мне показывали. Ну, пожалуйста! Если вы меня любите, дозвольте взять с собой одну из этих гусынь — я буду ее кормить».

«Нет, не дозволю, — отвечал отец. — Ты еще не знаешь, чем их и кормить-то!» И тут он понял, что природа человеческая сильнее разума, и раскаялся, что взял сына во Флоренцию.

На этом можно оборвать мою повесть, а теперь мне хочется вновь обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, иные из моих недоброжелателей стоят на том, что я уж чересчур стараюсь прельстить вас, о юные дамы, а что сам я уж чересчур вами прельщен. Но ведь я же этого и не отрицаю: в самом деле я вами прельщен и стараюсь, в свою очередь, прельстить вас. Ну так что же их тут удивляет? Ведь они-то познали негу сладких поцелуев и объятий и ту упоительную близость, какую вы, драгоценнейшие дамы, нередко им разрешаете. Да взять хотя бы в соображение одно то, что они постоянно наблюдают искусство вашего обхождения, обольстительную вашу красоту, обворожительную приятность и, вдобавок ко всему, благородную скромность, — так что же удивительного, что человек, вскормленный, воспитанный, выросший на пустынной горе, в стенах тесной кельи, никого, кроме отца, не видевший, к одной из вас почувствовал влечение, к другой — склонность, к третьей — страсть? Как можно меня костить, честить, гвоздить, если я, чье тело по воле неба создано для любви, а душа, смущенная волшебною силою огненных ваших взоров, нежностью сладких ваших речей, бурнопламенностью участливых ваших вздохов, смолоду тянется к вам, если я вами прельщен и стараюсь прельстить и вас, коль скоро вы больше, чем что-либо иное, прельстили отшельника, юнца, несмышленыша, дикому зверю

подобного? Право, только те, что не любят вас и не желают, чтобы вы их любили, только те, что не испытали и не познали, сколь сильна и сколь отрадна природная склонность, способны меня осуждать, а мне до них нужды мало.

Те же, что над моим возрастом издеваются, как видно, не знают, почему у порея головка уже белая, когда стебель еще зелен. Шутки в сторону. Этим людям я скажу, что мне будет не стыдно до конца дней угождать женщинам, коль скоро в угождении им находили отраду, коль скоро угождать им почитали за честь бывшие уже на склоне лет Гвидо Кавальканти, и Данте Алигьери,[3] и престарелый Чино да Пистойя. Я хочу остаться верен принятому мною способу изложения, а то бы я сослался на историю и доказал, что история полна примеров, свидетельствующих о том, что доблестные мужи древности, уже достигнув зрелого возраста, всеми силами старались угодить женщинам. Если некоторым сии примеры неизвестны, пусть сядут за книжку.

Что мне не мешало бы побыть с Музами на Парнасе — вот это, по крайнему моему разумению, совет добрый, однако ж ни мы не можем быть всегда с Музами, ни они с нами. И вот если кто-либо принужден с нами расстаться, то ничего предосудительного с его стороны не будет в том, ежели он увлечется теми, что на них похожи. Музы — женщины, и хотя женщинам с Музами не равняться, однако ж наружное сходство между ними есть, так что если бы даже что-либо другое мне в них и не понравилось, то уж это-то сходство не может мне не понравиться. Притом женщины дали мне тему для множества стихов, а вот Музы не дали и для одного. Правда, они оказали мне большую помощь — они учили меня, как писать стихи. Да, может статься, когда я сочинял эти свои непритязательные повестушки, они

тоже неоднократно являлись мне — то ли в угоду женщинам, то ли в честь того сходства, какое между ними существует, так что, сочиняя сии рассказы, я не удаляюсь ни от горы Парнас, ни от Муз, как это, вероятно, представляется многим.

Что же сказать о тех, кто ревнует о моей славе и советует мне позаботиться о хлебе насущном? Право, не знаю. Я только догадываюсь, что бы они мне ответили, если б я по бедности попросил у них хлеба, — они бы мне сказали: «Пойди поищи его в баснях». Кстати сказать, стихотворцы находили его в своих баснях побольше, нежели многие богачи в своих сокровищницах, — баснями они прославили свой век, между тем как многие, у которых хлеба было невпроед, погибли бесславно. А, да что там говорить! Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба, хотя, слава богу, пока что я в хлебе нужды не терплю, а если бы и пришла нужда, то, по слову апостола, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, а потому уж я сам как-нибудь о себе позабочусь.

Те же, которые утверждают, что все, о чем я рассказываю, на самом деле происходило не так, весьма удружили бы мне, предоставив в мое распоряжение подлинники, и вот если бы обнаружились противоречия, то я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться. Но пока все это одни слова, а когда так, то пусть эти люди остаются при своем мнении, я же буду придерживаться своего и буду говорить о них то самое, что они говорят обо мне.

Ну, на этот раз, пожалуй, довольно. С помощью божьей и с помощью вашей, высокородные дамы, — уж я на вас надеюсь, — запасшись терпением, я пойду вперед, спиной к ветру, — пускай себе дует! Полагаю, что, на худой конец, со мной может произойти то же, что с пылью, которую буйный ветер либо совсем не поднимет с земли, либо, подняв, проносит в вышине,

над головами простых смертных, над венцами императоров и королей, и кое-где оставляет на кровях высоких дворцов и башен, и пусть даже она оттуда и упадет, да ведь не ниже того места, откуда ее поднял вихрь. И если я и прежде всячески старался вам угодить, то теперь готов служить вам больше, чем когда-либо, ибо такие ваши поклонники, каков я, могут сказать одно: что поклоняться вам — это в природе вещей. А чтобы противиться законам природы — на это требуется слишком много сил, вот почему усилия сопротивляющихся не только в большинстве случаев оказываются тщетными, но и причиняют им огромный вред. Признаюсь, у меня таких сил нет, да они мне для этой цели и не нужны, а если бы даже я ими и обладал, то скорей поделился бы с кем-либо, чем воспользовался бы ради такого случая. А потому да смолкнут ругатели, и если они не способны воспламеняться, то пусть мерзнут и, находя отраду в том, чтобы давать волю порочным своим наклонностям, пусть не мешают мне в нашей краткой жизни утешаться по-своему.

Долгонько, однако ж, мы с вами бродили, приятные дамы, — вернемся к исходному пункту и будем следовать однажды установленному порядку.

Уже солнце прогнало с неба все звезды, а с влажной земли прогнало ночную тень, когда Филострато поднялся со своего ложа, тем самым подав знак всему обществу, что пора вставать, и все пошли веселиться в чудесный сад; когда же пришло время обедать, то пообедали на том же самом месте, где вчера вечером ужинали. В то время, когда солнце стояло особенно высоко, все отдыхали, а затем, как всегда, сели у прелестного фонтана, и тут Филострато велел рассказывать Фьямметте, она же, не дожидаясь напоминаний, с великою приятностью начала так.

Новелла первая

Танкред, правитель Салернский, убивает любовника своей дочери и посылает ей в золотом кубке его сердце; она поливает сердце отравой, выпивает отраву и умирает

— Печальный удел назначил нам ныне король. И то сказать: мы собрались повеселиться, а предстоит нам рассказывать о горестях; когда же идет речь о скорбях, то и рассказчики и слушатели не могут не сочувствовать страждущим. Может статься, король задал нам такую задачу для того, чтобы умерить веселье, которому мы предавались последнее время. Впрочем, что бы им ни руководило, мне не подобает идти наперекор его желанию, и потому я поведаю вам одно прискорбное злоключение, заслуживающее того, чтобы мы над ним поплакали.

Танкред, принц Салернский,[4] был правитель человеколюбивый и добросердечный (если не считать того, что на старости лет он обагрил руки в крови влюбленных), и была у него за всю его жизнь одна-единственная дочь, однако ж он был бы счастливее, если б у него ее не было. Ни один отец так нежно не любил свою дочь, как любил ее Танкред, — вот почему, хотя ей давно пора было замуж, он все не выдавал ее, ибо не мог с нею расстаться. Наконец он все же выдал ее за сына герцога Капуанского, но она пожила с мужем недолго и, рано овдовев, возвратилась к отцу. То была самая статная и самая красивая женщина в мире, молодая, смелая и не по-женски умная. Она жила у заботливого отца своего в неге и в холе, и он так любил ее, что не спешил выдать замуж вторично, она же почитала неприличным с этим к нему подступиться и надумала завести себе, если к тому представится

возможность, тайного и достойного возлюбленного. Присматриваясь к мужчинам высокородным, а равно и к худородным, которые, как при каждом дворе, были и при дворе ее отца, она наблюдала за их обхождением, за их поведением и в конце концов отличила молодого слугу своего отца по имени Гвискардо: то был человек, в низкой доле рожденный, однако ж по достоинствам души своей и по поведению благороднее всякого другого, и вот к нему-то, часто с ним встречаясь и находя все большую приятность в его обхождении, она и воспылала тайною страстью. От юноши, который, к слову сказать, тоже отличался живостью ума, это не укрылось, и он так ею увлекся, что позабыл обо всем на свете.

Словом, они тайно полюбили друг друга, и молодая женщина ни о чем так не мечтала, как о свидании с ним наедине, однако ж, боясь кому бы то ни было поверить любовную свою тайну, пустилась на особую хитрость, чтобы уведомить его, как им свидеться. Она написала ему записку и объяснила, как ему надлежит действовать на другой день. Записку эту она засунула в тростинку и, передав ее Гвискардо, с игривым видом молвила: «Отдай ее вечером служанке — пусть она в нее подует и разожжет огонь».

Гвискардо тростинку взял и, смекнув, что она дала ему ее и обратилась к нему с такими словами не без умысла, пошел к себе, а дома осмотрел тростинку и, обнаружив в ней углубление, достал оттуда записку, прочел и, уразумев, как ему надлежит действовать, обрадовался чрезвычайно и стал готовиться к свиданию, которое она ему в определенном месте назначила. Поблизости от палат властителя некогда была вырыта в горе пещера, и в эту пещеру через проделанное отверстие проникал слабый свет, а так как пещера была давно заброшена и дорога к ней заросла терновником и травою, то проникнуть в нее можно было

лишь по потайной лестнице, ведшей как раз из той комнаты нижнего этажа, где жила дочь правителя, хотя дверь на лестницу была заперта крепко-накрепко. Все об этой лестнице давно позабыли, никто по ней с незапамятных времен не ходил, и не осталось уже почти никого, кто мог бы припомнить, где она находится. Однако ж Амур, для взоров которого все тайное становится явным, напомнил о ней любящей женщине. Чтобы никого не посвящать в свои замыслы, она сама несколько дней возилась с дверью, пока наконец с помощью различных инструментов ей не удалось отпереть дверь. Отворив же ее и спустившись в пещеру, она обнаружила отверстие и послала сказать Гвискардо, чтобы он попытался проникнуть через него, и указала высоту, на которой отверстие находилось. Гвискардо, нимало не медля, приготовил веревку с узлами и петлями, чтобы удобней было по ней спускаться и подниматься, и на следующую же ночь, надев на себя одежду из кожи, предохраняющую от колючек, и никому ни слова ни сказав, направился к пещере, привязал покрепче один конец веревки к стволу могучего дерева, росшего у самого отверстия, спустился по веревке в пещеру и стал поджидать даму. Между тем дама, сделав вид, что ей хочется спать, услала своих девушек, заперлась у себя в комнате, а затем отворила дверь и, спустившись в пещеру, увидела Гвискардо, и тут они оба возликовали и, пройдя к ней в комнату, с превеликим удовольствием провели здесь почти весь день. Затем, с крайним тщанием осмотревшись, дабы никто не проник в тайну его любви, Гвискардо спустился в пещеру, она, заперев за ним, вышла к девушкам, Гвискардо же, дождавшись ночи, поднялся по веревке, выбрался из пещеры через то же самое отверстие и возвратился домой. Узнав дорогу, он потом еще несколько раз ходил на свидание.

Судьба, однако ж, позавидовала их продолжительному и неизъяснимому блаженству и одним прискорбным стечением обстоятельств обратила радость любовников в неутешное горе. Танкред имел обыкновение заходить к дочери, — приходил он к ней один и после краткой беседы удалялся. Как-то раз он пошел к ней после обеда; дочь его, — ее звали Гисмонда, — была в это время с девушками в саду, так что никто не видел и не слышал, как он вошел в ее комнату; войдя же, он не стал мешать ей развлекаться, окна в комнате были закрыты, полог над кроватью опущен; Танкред сел в углу на скамеечку, прислонился к кровати, задернул полог, словно нарочно от кого-нибудь прячась, и задремал. Пока он спал, Гисмонда, как на грех условившаяся с Гвискардо, что он сегодня придет, оставила девушек в саду, тихонько вошла к себе в комнату, заперлась и, не заметив отца, отворила дверь на лестницу ожидавшему ее Гвискардо; затем они оба, по своему обыкновению, легли на кровать и принялись резвиться и баловаться, и вдруг Танкред пробудился и услышал и увидел воочию, что вытворяют Гвискардо и его дочь. Придя от этого в ужас, он хотел было обрушиться на них с криком, но передумал и порешил не подавать голоса и из тайника своего не выходить, дабы негласно, с возможно меньшим для себя позором, поступить так, как он уже замыслил. Любовники, по обыкновению, долго пробыли в постели, а затем, решив, что пора им расстаться, встали, и Гвискардо спустился в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, несмотря на преклонные свои годы, выпрыгнул из окна в сад и, никем не замеченный, убитый горем, возвратился к себе.

По его повелению два человека на следующую же ночь, когда добрые люди только еще первый сон видели, схватили Гвискардо, которого движения сковывала кожаная его одежда, когда он вылезал из

отверстия, и повели к Танкреду. Как скоро Танкред увидел Гвискардо, то чуть не со слезами молвил: «Гвискардо! Ты отплатил за мое милостивое к тебе расположение срамом и оскорблением всему моему роду, чему я сам был свидетелем».

На это ему Гвискардо сказал только одно: «Любовь сильнее нас с вами».

Танкред приказал тайно от всех сторожить его в одной из ближних комнат, что и было исполнено.

На другой день, когда Гисмонда ничего еще не подозревала, Танкред, перебрав в уме множество чрезвычайных мер, после обеда пошел, по обыкновению, к дочери, послал за нею и, запершись, со слезами заговорил: «Гисмонда! Я был так уверен в твоем целомудрии и в твоей честности, что мне в голову никогда не могло прийти, хотя бы я о том от кого-нибудь услышал, но не видел собственными глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться кому бы то ни было, кроме мужа, — вот почему те немногие годы, что мне еще сулит прожить моя старость, я при одном воспоминании об этом не устану крушиться. И если уж суждено было тебе так низко пасть, то, по крайности, избрала бы ты себе ровню, но нет: изо всех, кто находится при моем дворе, ты остановилась на Гвискардо — молодчике самого темного происхождения, которого я от молодых его лет и даже до сего дня держал при своем дворе из милости, и тем повергла меня в крайнее душевное смятение, ибо я не знаю, как мне с тобою быть. Участь Гвискардо, которого я велел схватить ночью, когда он выбирался из пещеры, я уже решил, а вот что мне делать с тобой — это одному богу известно. С одной стороны, во мне говорит любовь к тебе, — а ведь я любил тебя так, как еще ни один отец не любил свою дочь, — с другой, во мне говорит правый гнев, вызванный великим твоим безрассудством: любовь требует, чтобы я тебя простил,

гнев же требует, чтобы я против тебя вопреки своей природе ожесточился. Прежде, однако ж, чем на что-либо решиться, я желаю знать, что ты обо всем этом думаешь?» С последним словом он уронил голову и заплакал, как побитый ребенок.

Поняв из слов отца, что не только раскрыта тайная их связь, но что Гвискардо схвачен, Гисмонда впала в невообразимое отчаяние и много раз была близка к тому, чтобы, как в подобных случаях обыкновенно поступают женщины, излить душу в воплях и рыданиях, однако ж гордость ее взяла верх над слабостью, она напрягла все усилия, чтобы не перемениться в лице, и в глубине души положила не просить о чем-либо отца, а покончить все счеты с жизнью, ибо она была уверена, что Гвискардо уже нет в живых.

Вот почему не как страждущая или же уличенная женщина заговорила она с отцом, — вид у нее был в эту минуту невозмутимый и решительный, взгляд открытый и нимало не растерянный. «Отец! — сказала она. — Я не намерена ни запираться, ни унижаться, — мне бы это все равно не помогло, да я и не хочу, чтобы это мне помогло. Но я и не собираюсь взывать к твоему великодушию и играть на твоей любви ко мне, — я хочу во всем признаться и привести веские доводы в защиту моей чести, а затем на деле доказать несокрушимую твердость моего духа. То правда: я любила и люблю Гвискардо и буду любить его до самой смерти, — а смерть моя близка, — однако ж повинна в том не столько женская моя слабость, сколько, во-первых, то, что ты не спешил с моим замужеством, а во-вторых, достоинства Гвискардо. Ведь ты же отлично знаешь, отец, что ты сам из плоти и что детище твое, дочь, также из плоти, а не из камня и не из железа, и тебе не мешало бы помнить, хотя ты и стар, какие такие, каковы суть и с какой силой себя проявляют законы юности. И хотя, как подобает мужчине, ты почти все

свои лучшие годы посвятил упражнениям воинским, со всем тем тебе должно быть понятно, как действуют праздность и нега на людей престарелых, а тем более на молодых. Итак, коль скоро я рождена от тебя, значит, я из плоти, и я еще так мало жила на свете, что могу считать себя молодой, в силу каковых обстоятельств во мне кипят страсти, и страсти эти стократ усилились во мне после того, как я побывала замужем и познала, как приятно их утолять. Не в силах будучи противиться моей склонности, я, как это бывает с молодыми женщинами, покорилась ей и полюбила. По чести, я старалась сделать все возможное для того, чтобы грех, на который меня толкала сама природа, не покрыл позором ни тебя, ни меня. Сострадательный Амур и благосклонная судьба нашли и указали мне потайной ход, благодаря которому я неприметно достигала своей цели. Указал ли его кто-нибудь тебе, сам ли ты догадался — как бы то ни было, я этого не отрицаю. Я поступила не так, как другие женщины: мой выбор пал на Гвискардо не случайно — лишь после глубоких раздумий я отличила его пред другими, я допустила его до себя, все обдумав и взвесив, и с благоразумным постоянством, каковое выказывал и он, долго упивалась своею страстью. Сколько я тебя понимаю, ты горько меня упрекаешь не так за мое падение, как за мой выбор, ибо ты находишься во власти предрассуждений света: ты упираешь на то, что я сошлась с простолюдином, словно мой проступок заслуживал бы с твоей стороны не столь строгого осуждения, если бы я остановила свой выбор на человеке, происшедшем от благородных родителей. Ты не хочешь понять, что то не мой грех, но грех фортуны, весьма часто возвышающей недостойных, а наидостойнейших обрекающей на низкую долю. Однако ж оставим пока этот предмет. Обрати внимание на устройство вещей — и ты увидишь, что плоть у всех у

нас одинакова и что один и тот же творец наделил наши души одними и теми же свойствами, качествами и особенностями. Мы и прежде рождались и ныне рождаемся существами одинаковыми — меж нами впервые внесла различие добродетель, и кто был добродетельнее и кто ревностнее выказывал свою добродетель на деле, те и были названы благородными, прочие же — неблагородными. И хотя впоследствии это установление было вытеснено прямо противоположным, со всем тем оно еще не вовсе искоренено как из природы человеческой, так равно и из общественного благонравия. Вот почему кто совершает добродетельный поступок, тот доказывает, что он человек благородный; если же его называют иначе, то вина за это ложится не на называемого, а на называющего. Окинь взором своих вельмож, понаблюдай, какую ведут они жизнь, присмотрись к нравам их и обычаям, а затем переведи взгляд на Гвискардо, и вот, если ты будешь судить беспристрастно, то его ты назовешь человеком благороднейшим, тех же, кого почитают за благородных, — смердами. Что касается достоинств и совершенств Гвискардо, то тут я верила только твоим словам и моим собственным глазам. А кто же еще так хвалил его, как ты, за поступки истинно похвальные, за которые стоит сказать доброе слово о человеке достойном? И, по чести, ты воздавал ему должное: если только глаза мои меня не. обманывали, ты ни разу не отозвался о нем с похвалой, которой он бы не заслужил, — более того: он всегда поступал выше всяких похвал. Если же я на его счет обманулась, то ввел меня в обман не кто иной, как ты. Сможешь ли ты теперь сказать, что я сошлась с человеком низкого происхождения? Если и скажешь, то это будет неправда. Если же ты назовешь его бедняком, то с этим согласиться можно, хотя к чести это тебе не служит, —

значит, ты не сумел достойно вознаградить честного человека, твоего слугу, однако ж бедность указывает лишь на отсутствие средств, но не на отсутствие благородства. Многие короли, многие владетельные князья были бедняками, многие же из тех, кто пашет землю и пасет скот, были и есть богатей. Так рассей же последнее сомнение касательно того, как быть со мной. Если ты намерен поступить в глубокой старости так, как ты никогда не поступал в юности, то есть выказать жестокость, то обрушь на меня свою ярость, тем более что я и не собираюсь молить тебя о пощаде: ведь если тут можно говорить о вине, то во всем виновата я. Можешь мне поверить: если ты не поступишь со мною так же точно, как поступил или же велишь поступить с Гвискардо, то я наложу на себя руки. Иди же, поплачь с женщинами, а затем, рассвирепев, убей одним ударом его и меня, если только ты уверен, что мы этого заслужили».

Правителю открылось величие духа его дочери, и все же он был не вполне убежден, что она непременно осуществит свой замысел. В сих мыслях он ушел от нее и отказался от намерения как-либо ей отомстить, — он порешил обрушить весь свой гнев на ее возлюбленного и тем охладить любовный ее пламень; того ради приказал он двум стражам ночью, не производя ни малейшего шума, задушить Гвискардо и, вынув у него из груди сердце, принести ему, и как он им приказал, так они и сделали.

На другой день Танкред велел принести большой красивый золотой кубок и, положив туда сердце Гвискардо, послал с этим кубком к Гисмонде верного своего слугу и велел передать ей: «Отец посылает тебе в утешение то, чем ты больше всего дорожила, подобно как ты берегла то, что было ему дороже всего на свете».

Между тем Гисмонда, не отказавшаяся от бедственного своего намерения, велела принести ядовитых трав и кореньев и в отсутствие отца, чтобы иметь под рукой отраву на тот случай, если бы произошло то, чего она опасалась, изготовила настой. Когда же к ней явился слуга с подарком и передал слова принца, она, не дрогнув, взяла кубок, заглянула в него и, увидев сердце, поняла, что хотел сказать отец, и совершенно уверилась, что это сердце Гвискардо. Глядя слуге прямо в глаза, она сказала: «Такому сердцу золотая подобает гробница. — отец мой поступил мудро». Тут Гисмонда поднесла сердце к устам своим и поцеловала его. «Всегда и во всем, вплоть до этого последнего дня моей жизни, отец проявлял ко мне нежнейшую любовь, — продолжала она, — ныне он превзошел себя в своей нежности, — так передай же ему за бесценный сей дар последнюю мою благодарность».

Затем она обратилась к кубку, который крепко держала в руках, и, глядя на сердце, снова заговорила: «О сладчайшее святилище утех моих! Да будет проклята жестокость того, кто вынудил меня ныне увидеть тебя телесными очами! Мне довольно было созерцать тебя всечасно очами духовными. *Течение ты совершило,*[5] все, что уготовала тебе судьба, ты исполнило. Ты достигнуло меты, к коей стремится всякий, ты покинуло сию плачевную юдоль с ее скорбями, а недруг твой подарил тебе гробницу, коей твоя доблесть заслуживала. Для твоего погребения недоставало лишь слез той, которую ты так любил при жизни. Дабы не лишать тебя их, господь внушил бесчеловечному отцу моему мысль послать мне тебя, и я приношу тебе в дар мои слезы несмотря на то, что решилась умереть без слез и без страха. Подарив же тебе мои слезы, я не задумываясь соединю при твоей

помощи свою душу с той, которую ты, о сердце, столь бережно хранило. С кем еще мне было бы так отрадно и покойно устремиться в неведомые края, как не с твоею душою? Я уверена, что она еще здесь, что она созерцает место своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я не сомневаюсь, ждет мою душу, а моя душа любит ее больше всего на свете».

В противоположность тому, как ведут себя в таких случаях женщины, Гисмонда не испустила ни единого вопля, — она молча наклонилась над кубком и, словно в голове у нее находился источник, стала проливать на диво обильные слезы и осыпать поцелуями безжизненное сердце. Девушки, стоявшие вокруг, не знали, чье это сердце, смысл ее слов был им неясен, однако ж все они плакали от жалости, движимые состраданием, допытывались у нее, отчего она плачет, и, сколько могли и умели, пытались ее утешить.

Вволю наплакавшись, она подняла голову и, отерев глаза, молвила: «Обожаемое сердце! Свой долг по отношению к тебе я исполнила — теперь мне остается лишь соединить мою душу с твоею». Сказавши это, она велела подать кувшин, в который еще вчера налила отравы, и вылила отраву на омытое ее слезами сердце. Затем смело поднесла кубок ко рту и, выпив все, что в нем было, с кубком в руке возлегла на свое ложе, благоговейно приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и молча стала ждать смерти.

Видевшие и слышавшие все это девушки хоть и не имели понятия, что именно она выпила, послали, однако, сказать Танкреду, он же, испугавшись, что произойдет как раз то, что на самом деле и произошло, поспешил к дочери и вошел в ту самую минуту, когда она легла. Увидев, в каком она положении, и поняв, что утешать ее ласковыми словами теперь уже поздно, он горько заплакал.

Она же ему сказала: «Отец! Прибереги слезы для менее желанного горя, не проливай их надо мною — мне они не нужны. Кто еще, кроме тебя, оплакивал то, к чему он стремился? Но если твоя любовь ко мне еще не вовсе угасла, окажи мне последнюю милость: как ни ненавистна была тебе тайная и сокровенная моя связь с Гвискардо, дозволь, чтобы тело мое у всех на виду легло рядом с его мертвым телом, где бы ты ни велел его закопать». Слезы душили правителя, и он ничего не мог сказать ей в ответ. Тогда молодая женщина, почувствовав, что конец ее близок, еще крепче прижала к груди безжизненное сердце. «Да хранит вас господь, а я умираю», — вымолвила она. Очи ее подернулись пеленою, она перестала что-либо чувствовать и покинула горестную сию юдоль.

Итак, теперь вам известен печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, а Танкред много слез пролил и, поздно раскаявшись в своей жестокости, под громкие стенания всех салернцев с почестями похоронил любовников в одной гробнице.

Новелла вторая

Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен архангел Гавриил, и, приняв его обличье, несколько раз у нее ночует; как-то ночью, убоявшись родственников ее, он выбрасывается из окна ее дома и находит пристанище у одного бедняка; на другой день бедняк ведет его, переодетого дикарем, на площадь, и тут все узнают его, а монахи хватают и заключают в темницу

Повесть Фьямметты не раз исторгала слезы из очей подруг. Когда же Фьямметта ее досказала, король с мрачным видом молвил:

— Я бы с радостью отдал жизнь за половину того наслаждения, какое изведали Гвискардо и Гисмонда, и в том нет ничего удивительного: я, правда, живу, но, что ни час, тысячу раз умираю и притом не испытываю самомалейшего наслаждения. Но оставим до времени мои обстоятельства такими, как они есть, — я хочу, чтобы теперь Пампинея рассказала что-нибудь печальное, отчасти напоминающее то положение, в каком нахожусь я. Если она пойдет по следам Фьямметты, то, вне всякого сомнения, повесть ее будет подобна росе, которая охладит мой пламень.

Выслушав это приказание, Пампинея не весьма ясно поняла из слов короля, чего он от нее хочет, зато она чутьем угадала расположение духа ее подруг, а потому, желая не столько угодить королю, — а если и угодить, то лишь исполнением его приказания, — сколько развлечь подружек, надумала, не выходя за рамки заданной темы, рассказать смешную повесть, и начала она так:

— Есть народная поговорка: «Кто праведником слывет, тот всегда очки вотрет». Поговорка эта открывает предо мною вольный простор для беседы на предложенную тему, а кроме того, дает возможность показать, каково и сколь сильно лицемерие монахов с их широким и долгополым одеянием, с неестественной бледностью их лиц, с их голосами, умильными и вкрадчивыми, когда они клянчат, громоподобными и устрашающими, когда они обличают в других своих собственные пороки и уверяют, будто они спасают свою душу тем, что берут, а все прочие — тем, что дают, будто они, в отличие от всех нас, не обязаны заслужить царство небесное, будто царство небесное — это их вотчина и поместье и они вольны отводить в нем умирающим, в зависимости от того, сколько те завещают на монастыри, более или менее хорошее место, и этим только обманывают себя, если, впрочем, они сами в этом убеждены, а равно и тех, которые верят им на слово. Если б мне было дозволено выложить про них все, я бы в ту ж секунду показала простецам, что прячут монахи в складках широченных своих мантий. Дай бог, чтобы за те небылицы, которые они плетут, с ними со всеми случилось то же, что с одним миноритом, человеком уже немолодым, из всех францисканцев пользовавшимся в Венеции наибольшим уважением. Мне страх как хочется рассказать о нем поподробнее, — может статься, я сумею развеселить и развлечь вас, огорченных кончиной Гисмонды.

Итак, достойные дамы, жил-был в Имоле грешник и злодей по имени Берто делла Масса, столь широко известный предосудительными своими поступками, что ему не верили, даже когда он говорил правду. В конце концов, видя, что ему здесь делать нечего, отчаявшись еще кого-либо обмишулить, он перебрался в Венецию — в это гнездилище всяческой скверны,[6] — с тем чтобы

разбойничать здесь по-иному. Притворившись, будто совесть мучает его за все совершенное им в прошлом зло, прикинувшись великим смиренником и необыкновенным молитвенником, он ушел к миноритам и стал братом Альбертом из Имолы. В иноческом чине он делал вид, что ведет жизнь строгую, призывал к покаянию и воздержанию, мяса не ел и вина не пил — в тех случаях, когда ему ни есть, ни пить не хотелось. Никто и оглянуться не успел, как он из разбойника, сводника, фальшивомонетчика и убийцы превратился в знаменитого проповедника, что не мешало ему предаваться перечисленным порокам, но только втайне. Став иеромонахом, он у престола, во время богослужения, так, чтобы все это видели, оплакивал страсти Христовы, благо слезы у него были дешевы. Своими проповедями и слезами он в короткий срок сумел так очаровать венецианцев, что они назначали его своим душеприказчиком, отдавали ему свои духовные на сохранение, деньги — на сбережение, и мужчины и женщины избирали его своим духовником и советчиком. Так, из волка преобразовавшись в пастыря, он достигнул того, что о святом Франциске никогда столько не говорили в Ассизи, сколько теперь говорили в Венеции об его святости.

Случилось, однако ж, так, что некая молодая особа, пустенькая и глупенькая, Лизетта из рода Квирино,[7] жена именитого купца, который на нескольких галерах повез товар во Фландрию, пошла вместе с другими женщинами на исповедь к этому честному иноку. Опустившись на колени, она стала рассказывать ему о своих грешках, — а ведь венецианки, все, сколько их ни есть, ветреницы, — брат же Альберт задал ей вопрос, нет ли у нее любовника.

«Где у вас глаза, ваше преподобие? — в сердцах спросила Лизетта. — Или, по-вашему, между моей

красотой и красотой вот тех исповедниц никакой разницы нет? Да если б только я захотела, я бы себе целый рой любовников завела, но я до того хороша, что не могу дозволить любить себя встречному и поперечному. Много ль вы видели таких красавиц, как я? На меня загляделись бы и в раю». Говорила она о своих прелестях до бесконечности, так что тошно было ее слушать.

Брат Альберт живо смекнул, что она с придурью, и, рассудив, что для него это сущий клад, внезапно и без памяти в нее влюбился. Отложив, однако, объяснение в любви до другого раза, он дабы на первых порах сойти в ее глазах за праведника, начал укорять ее в самохвальстве, стал ее отчитывать, она же ему сказала, что он дурак: не понимает, дескать, что красота красоте рознь. Брат Альберт, боясь, что она еще пуще разгневается, наскоро поисповедал ее и отпустил вместе с другими домой.

Выждав несколько дней, он взял с собой верного своего друга, отправился к Лизетте, прошел с ней в комнату, где их никто не мог видеть, и, отведя ее в укромный уголок, повалился перед ней на колени и сказал: «Дочь моя! Ради бога, простите меня за то, что я вам сказал в воскресенье, когда вы мне говорили о своей красоте. На следующую же ночь меня так лихо отколотили, что я только сегодня в первый раз встал с постели».

«Кто же это вас так отколотил?» — спросила дуреха.

«Сейчас вам все расскажу, — отвечал брат Альберт. — Когда я ночью, по обыкновению, стоял на молитве, внезапно келья моя озарилась ослепительным светом, и едва я поднял глаза, как увидел дивной красоты юношу с толстой палкой в руке, — он схватил меня за сутану и, повергнув ниц, обломал мне бока. Когда же я спросил его, за что, он мне ответил так: «За то, что ты нынче осмелился изрыгать хулу на небесную

красоту госпожи Лизетты, которую я, после господа бога, люблю больше всего на свете». Тут я спросил его: «Но кто же вы?» А он мне сказал, что он архангел Гавриил. «О господине! — воскликнул я. — Молю вас: простите меня!» — «Прощаю, — ответствовал он, — с условием, однако ж, чтобы ты как можно скорее увиделся с ней и испросил себе прощение. Буде же она тебя не простит, то я еще раз в твою келью наведаюсь и так тебя отделаю, что ты до самой смерти не забудешь». То же, что он к этому присовокупил, я осмелюсь поведать вам не прежде, чем вы меня простите».

У Лизетты мозги были набекрень, — она верила всем турусам, которые разводил брат Альберт, и таяла от каждого его слова. «Говорила я вам, брат Альберт, что моя красота — красота небесная, — заметила она немного погодя, — а все-таки мне вас жаль, истинный бог, и я вас прощаю, а то как бы с вами еще хуже не обошлись, но только вы должны мне сказать, что вам поведал ангел».

Брат Альберт ей на это ответил: «Дочь моя! Раз вы меня простили, я вам с удовольствием все расскажу, но прошу запомнить: что бы вы от меня ни услышали, бойтесь кому бы то ни было проговориться, если только вы, счастливейшая в мире женщина, не хотите испортить все дело. Архангел Гавриил велел мне передать вам, что вы ему очень нравитесь, и его останавливает только одно: как бы не испугать вас, а то бы он уже не раз явился вам ночью. Вот он и велел передать, что намерен как-нибудь прийти к вам ночью и побыть с вами подольше. А так как он ангел и если б он явился вам в образе ангела, то вы не смогли бы к нему прикоснуться, он хочет ради вашего удовольствия, предстать перед вами в образе человеческом. Словом, он хочет знать, когда ему лучше к вам прийти и в каком виде, — он все исполнит по слову вашему, так что вы

можете почитать себя блаженнейшей из женщин, ныне живущих на земле».

Дурында ему на это ответила, что ей очень лестно, что ее любит ангел, и она его, мол, тоже любит и всегда перед его образом ставит большущую свечу. Когда бы, мол, он ни пожелал прийти, он всегда будет желанным гостем и она будет одна в комнате. Только пусть уж он теперь, коли вправду любит, ради девы Марии ее не бросает, а уж она-то, еще и не подозревая о его любви, где бы его ни увидела, всегда, бывало, становилась перед ним на колени. А в каком образе явиться — это, дескать, его дело, только бы ей не было страшно.

Брат Альберт ей на это сказал: «Дочь моя! Вы рассудили умно, и я все берусь устроить. Но вы можете заодно оказать мне великую милость, вам же это ничего не будет стоить. Вот в чем она заключаются: изъявите желание, чтобы он явился вам в моей плоти. Послушайте, какую милость вы мне этим окажете: он вынет душу мою из тела и пошлет ее в рай, а сам войдет в меня, и, пока он будет с вами, душа моя будет в раю».

А дурья голова ему на это: «Я согласна. Пусть это послужит вам утешением за трепку, которую вы из-за меня получили».

Брат Альберт ей на это сказал: «В таком случае проследите за тем, чтобы дверь вашего дома на ночь осталась отворенной: раз он явится в человеческом образе, то иначе; чем через дверь, ему не проникнуть».

Лизетта ответила согласием. Брат Альберт удалился, а она света невзвидела от радости и не чаяла, как дождаться той минуты, когда появится ангел. Брат Альберт, рассудив, что ночью ему придется быть не ангелом, но всадником, стал подкрепляться сластями и прочими вкусными вещами, дабы не слететь с коня. Получив дозволение выйти из монастыря, он, едва стемнело, пошел со своим другом к одной